

# 1

— Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...

— Можно, — довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.

— Я неспроста осведомился о вашем имени, — беззаботно продолжал голос. — По моему мнению, всякое имя...

— Давайте я опять нажму кнопку, — прервал его Ганин.

— Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее; а жену зовут совсем просто: Мария. Кстати, позвольте представиться: Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил...

— Очень приятно, — сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. —

А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Чорт\*...

— Сядем-ка на лавку да подождем, — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. — Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?

— Давно. Спички у вас есть?

— Нету. Не курю. А пансионат грязноват, — даром что русский. У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает. Четыре года — шутка ль сказать... Да-с. А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье.

— Тьма какая... — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. — Интересно, который час...

Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запахок не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запахе.

— Значит, осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконца не открываются.

— Я не прочь их разбить, — сказал Ганин.

— Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные,

\* В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов чорт, счастье, свэтер, джампер, бэкон, лястик, танцовать, а также имен собственных, например, Карляйль, Тенериффа).

сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

— Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку.

— Швейцар давно почивает, — всплыл голос Алферова, — так что и стучать бесполезно.

— Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь.

— Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на terra firma\*, мы друг друга не знали, да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещенье вместе. Кстати сказать, — какой тут пол тонкий! А под ним — черный колодец. Так вот, я говорил: мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх и вдруг — стоп. И наступила тьма.

— В чем же, собственно говоря, символ? — хмуро спросил Ганин.

— Да вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой. И в ожиданье. Сегодня за обедом этот, — как его... старый писатель... да, Подтягин... — спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?

— Нет. Был за городом.

— Теперь — весна. Там, должно быть, приятно.

Голос Алферова на несколько мгновений пропал и, когда снова возник, был неприятно певуч, оттого что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался:

\* Твердая земля (*лат.*).

— Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?

— Так точно, — сухо ответил Ганин.

— Совсем уезжаете из Берлина?

Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять; вдруг наверху что-то щелкнуло.

— Вот это лучше, — усмехнулся Ганин.

В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, — как говорится, демисезонном, — и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах — в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф.

Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.

— Чудеса, — заулыбался Алферов, открыв дверь... — Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович; за вами.

Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.

— Чудеса, — повторял Алферов, — поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, — символ...

## 2

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Приходящая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря, — шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской — первая дверь налево — жил теперь Алфёров, в следующей — Ганин, в третьей — сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо — от четвертого по шестое апреля — жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтя-

гин, Клара — полногрудая барышня с замечательными синегато-карими глазами, — и наконец — в комнате шестой, на сгибе коридора, — балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая, с литографической «Тайной Вечерью» на стене против двери и с рогатыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальных вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо: там дальше, в трагических и неблагоприятных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую, изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как

кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками; в каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку — грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять

своею соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, — и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешево длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда расспрашивала его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебивавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать, сказал даже, что освободит комнату в эту субботу, но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука.



За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь — желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом — ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться, и сам признавался Подтягину, что «как баба» страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник, после двадцати минут, проведенных с развязным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны — всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, — и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок двести, не больше: эти три последних месяца обошлись дороговато.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился — много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ре-

сторане «Рiг Gогоi»; знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, — и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, падали в упор белым убийственным блеском, озаряя крашенный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, — но долго еще в этих сложных стеклах долевали красноватые зори — наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать — он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен словно срезанных домов, и над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко.